



## **Л. Д. ТРОЦКИЙ**

### **Герцен и Запад**

(К столетию со дня рождения)

«...Париж был под надзором полиции, Рим пал под ударами французов, в Бадене свирепствовал брат короля прусского, а Паскевич, по-русски, взятками и посулами, надул Гергея в Венгрии. Женева была битком набита выходцами, она делалась Кобленцом революции 1848 г.»<sup>1</sup>

Такими словами характеризует Герцен политическую картину Европы в 1849 году. Два года перед тем он ждал совсем иного, когда за его спиной спускался отечественный шлагбаум. Революция 1848 года разбилась не о механическое сопротивление реакции, а о свои внутренние социальные противоречия. Ошибки и нелепости вождей были только отражением исторического тупика.

«Порядок» был восстановлен мало-помалу во всей Европе, и шпионы контрреволюции, проникнутые духом чистого полицейского космополитизма, съезжались на свои международные конгрессы для выработки норм круговой поруки.

Эмиграция приняла необычайные размеры. Выходцы были разбиты на национальные группы и политические секты. Поражение революции [18]48 года было прежде всего поражением якобинских традиций [18]93 года. Революция передвигалась отныне на новые классы. Но вожди движения [18]48–[18]49 годов терялись в новых условиях, ждали близкого прилива, надеялись все «начать сначала», повторяли

старые слова. Ожесточенной полемикой друг с другом под-держивали свой падающий дух. Образовавшийся в Лондоне «Европейский центральный комитет»<sup>2</sup>, с Маццини и Ледрю-Ролленом во главе, выпустил торжественный манифест, в котором прогресс и свобода братались с священной собственностью, братство подпиралось требованием мелкого кредита, народ провозглашался основой, а бог — увенчанием европейской демократии. Для этих почтенных людей вся мораль событий свелась к ошибкам отдельных вождей и к недостатку среди них согласия. Так как перед [18]48 годом они в течение ряда лет повторяли известные революционные формулы, то теперь они надеялись упорным повторением старых заклинаний вызвать повторение событий.

Маццини приглашал Герцена примкнуть к европейскому комитету и прислал ему для ознакомления манифест и другие документы. Герцен отказался. «Что нового, — спрашивал он Маццини, — в прокламациях, что в Proscrit? Где следы грозных уроков после 24 февраля? Это продолжение прежнего либерализма, а не начало новой свободы, это эпилог, а не пролог».

Герцен не только вошел, как равноправный, в среду европейской эмиграции, в круг ее «горних вершин»; стоя рядом с поляком Ворцелем, с итальянцем Маццини, которых он любил и нравственно обожал, рядом с французами Ледрю-Ролленом и Луи-Бланом, которых он очень ценил, Герцен чувствовал себя богаче мыслью, пронизательнее, смелее, всестороннее их. Или, чтобы говорить его словами, свободнее их. «Та революционная эра, — пишет Герцен, — к которой стремились либеральная Франция, юная Италия, Маццини, Ледрю-Роллен, не принадлежит ли уже прошедшему, эти люди не делаются ли печальными представителями былого, около которых закипают иные вопросы, другая жизнь?»<sup>3</sup>.

Но почему же они сами, вожди европейской демократии, не видят того, что дано было понять чужому, политическому новобранцу, москвичу, варвару? Да именно потому, что они — каждый из них — действительно представляют кусок своей национальной истории, за ними — классы, партии, организации, события, вчерашние или позавчерашние. Их взгляды и методы действий выработали в себе большую силу внутреннего сопротивления. А за Герценом, если

не считать нескольких идейных друзей в двух столицах, нет ничего, кроме его таланта, пронизательности, гибкости ума и... превосходного знания европейских языков. Он ничем не связан. В его взглядах нет того упорства, которое дается взаимодействием слова и дела. Над ним не тяготеют традиции. Он не знает над собою властного контроля единомышленников и последователей. Он «свободен». Он — зритель. «Равноправный» среди «горных вершин» демократии, он, однако, же никого в ней не представляет, ни от чьего имени не говорит, он *citoyen du monde civilise\**, он отражает только историю этой самой европейской демократии — в «свободном» сознании талантливого, с проблесками гениальности, интеллигента из московских дворян. Почему Джемс Фази, победоносный женевский революционер, или Маццини, «бывшие социалистами прежде социализма», сделались потом его ожесточенными врагами? — не понимает и удивляется Герцен. Он много спорил с ними, но бесплодно. Почему? спрашивает он. «Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачем же было горячиться?»... Он хотел бы, чтоб их сознание было так же свободно, как его, в выборе между либерализмом и социализмом или в сочетании обоих. Но для них это не бесплотные принципы, а политический вопрос — опоры на те или другие классы. Оттого они не просто дискутируют, а «горячатся» и даже борются на жизнь и на смерть. Сталкиваясь с упорством чужих политических взглядов и предрассудков, Герцен приходит к выводу, что главное преимущество его — «незасоренность» психики: «мыслящий русский человек самый свободный человек в мире», — пишет он Мишле.

«Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и, тем самым наиболее русский, тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России... Они несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен»... Это уж не Герцен говорит, а Версильов у Достоевского, в «Подростке», но ведь так именно сознавал себя по отношению к Европе Герцен: всех понимает, в их силе и в их слабости, а сам — «свободен».

---

\* Гражданин цивилизованного мира (*фр.*).

«Я ни во что не верю здесь, — пишет Герцен своим русским друзьям в 1849 году, — кроме как в кучку людей, в небольшое число мыслей, да в невозможность остановить движение». Но «кучка людей» топталась на месте и жила с капитала старых репутаций, «небольшое число мыслей», входивших в идейный обиход близкой Герцену «кучки людей», было полно противоречий и недоговоренностей, слишком очевидных для такого пронизательного «наблюдателя со стороны», каким был Герцен. А «невозможность остановить движение» — слишком неопределенное и неустойчивое верование, если оно опирается лишь на кучку фанатически неоглядывающихся или, наоборот, безнадежно растерянных людей, да на небольшое количество уже отработанных историей мыслей. И действительным ответом Герцена на опыт [18]48–[18]49 годов явился общественный скептицизм. Крах старых надежд, ожиданий и верований означал для него неизбежность крушения всей цивилизации под натиском отчаявшихся масс.

«Вам жаль цивилизации? Жаль ее и мне. Но ее не жаль массам. Смирение пред неотвратимыми судьбами!». Даже Прудон, презрительно глядевший на крушение политической демократии и носившийся со своей художочной утопией всеспасающего банка, отшатнулся от этих настроений Герцена. «Посоветуйте ему, — писал Прудон своим друзьям, — не делаться сообщником контрреволюции, проповедуя какое-то смешное *consumatum est*\*».

Герцен безошибочно отгадывал то, что было скрыто от Ледрю и Маццини, от Руге и Блана: фатальное крушение старых программ, партий и сект. Но — наблюдатель со стороны, не связанный с внутренними изменениями в европейской общественности, — он не видел, что под этой лопавшейся и расплывавшейся оболочкой совершался более глубокий процесс: политическое самоопределение масс путем преодоления старой опеки. Крушение старого было для Герцена крушением всего. Не имея в Европе социальной опоры, чтобы от разбитых иллюзий идти вперед, Герцен оборачивается назад, на то, что оставил за собою, за отечественным

---

\* Свершилось (*лат.*).

шлагбаумом. «Начавши с крика радости при переезде через границу,— пишет он,— я окончил моим духовным возвращением на родину». Герцен становится социальным русофилом.

В начале сороковых годов Герцен, как и Белинский, резко выступает против «славянобесия». Но этот западнический взлет мысли оказался для русской интеллигенции еще не по плечу.

Славянофильство как идея исторического мессианизма, как пророчество особого призвания народа русского, еще надолго должно было — в том или другом виде — овладеть мыслью образованного русского авангарда: это нравственная компенсация за бедность и мерзость окружающего, за невозможность вмешаться в историю сегодня же, это единственный путь примирения со своими общественными судьбами; наконец, это временные идейные ходули, на которых интеллигенция выбиралась из стоячего болота отечественного быта и шла... в Европу. Народничество, т. е. славянофильство минус славянофильская политика и славянофильская религия, было не чем иным, как первым, негативным — свет вместо теней и тени вместо света! — отражением превосходства и могущества европейской культуры во встревоженном сознании мыслящего русского человека. Чтобы перевести негатив на позитив, понадобились еще десятилетия тягчайшей учебы, взлетов и падений...

В своих открытых письмах к Гервегу, Маццини и Мишле Герцен становится после краха [18]49 года провозвестником русского мессианизма. Он объявляет крестьянскую общину залогом социальной справедливости в будущем и обещает Европе спасение — с Востока. Не только образованные русские — «самые свободные люди», но и народ русский оказывается самым свободным в выборе своих путей. В социальном вопросе, т. е. в основном вопросе всей эпохи, мы «потому дальше Европы и свободнее ее, что так отстали от нее». Раз объявив отсталость и варварство за величайшее историческое преимущество славянства над миром старой европейской культуры, Герцен доходит до самых крайних и рискованных выводов и в области международной политики. «Время

славянского мира настало, — пишет он в [18]49 году — Настоящая столица соединенных славян — Константинополь...»<sup>4</sup>. Во всяком случае, война эта (война России за Константинополь) — *introduzione maestosa et marziale\** мира славянского во всеобщую историю и с тем вместе *una marcia funebre\*\** старого света.

Приветствуя трубными звуками захват Константинополя, как могущественное вступление славянства во всеобщую историю, Герцен верил, что это будет последним усилием старой России, — но для кого эта вера могла быть обязательной? Какие такие внутренние силы мог указать тогда в России Герцен, этот «свободный наблюдатель», всегда открыто и честно заявлявший, что он ни от чьего имени не говорит и никого не представляет, что он — сам по себе? В глазах демократов Запада завоевание Россией Константинополя могло означать только одно: усиление крепчайшего из оплотов реакции.

В лице своих молодых сил и их идеалов старая Европа ни на минуту не собиралась слагать оружие и ждать спасения со стороны «славной славянской федерации» и русской общины. Отсюда — непримиримая враждебность между Герценом и творцами научной системы социального развита.

Маркс с пренебрежением отзывался о Герцене, о «полурусском и вполне москвиче», который «открыл русский коммунизм не в России, а в сочинении прусского регирунгсрата Гакстгаузена»<sup>5</sup>. Не менее саркастически отзывался и Энгельс о «раздувшемся в революционера панславистском беллетристе», который собирается обновлять и возрождать гниющий Запад — даже при помощи русского оружия. В свою очередь, Герцен тоже не слишком мягко характеризовал сторонников Маркса, как «шайку непризнанных немецких государственных людей, окружавших неузнанного гения первой величины, Маркса»<sup>6</sup>.

Вражду к себе со стороны «марксистов» Герцен объяснял мотивами не весьма высокого порядка: «Меня

---

\* Торжественное вступление (*фр.*).

\*\* Похоронный марш (*фр.*).

приносили,— говорит он,— в жертву фатерланду из патриотизма».

На самом деле тут были причины, ничего общего с «патриотизмом» не имеющие. В «Былом и думах» Герцен пытается объяснить свой антагонизм с немецкой эмиграцией причинами бытовыми: грубостью и невоспитанностью немцев, и идейными: бесплотной абстрактностью немецкого радикализма. Но ни то, ни другое объяснение не может относиться к Марксу. «Германский ум,— пишет Герцен,— в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется, в ее безусловном, т. е. недействительном значении, и довольствуется идеальным построением ее, воображая, что вещь сделана, если она понята»...<sup>7</sup>

Эта характеристика как нельзя лучше охватывает тот самобытный мессианистический немецкий социализм, с которым Маркс и Энгельс свели теоретические счета. Но в марксизме «германский» ум окончательно преодолел идеалистическую бестелесность абсолютных отрицаний и абсолютных утверждений, свел идеологические противоречия к борьбе материальных общественных сил и отнюдь не верил, что «вещь сделана, если она понята». Нет, причины идейного антагонизма были другие. В то время как Герцен усматривал даже в военном нашествии России на Европу благодетельную встряску для этого полутрупа, Маркс с ненавистью относился не только к официальному, но и к демократическому панславизму, видя в нем страшную угрозу для европейского развития.

В 1848–1849 годы значение России как оплота европейской реакции сказалось с небывалой силой. И так как в самой России ничто не шевелилось, то ненависть европейской демократии к официальной России слишком легко превращалась в недоверие ко всему русскому, во вражду к «нации рабов», которая через свое правительство поддерживает рабство во всем мире. А так как и австрийские славяне сыграли в событиях [18]48–[18]49 годов усмирительную роль, то пропаганда панславизма в данных исторических условиях знаменовала не фантастическую свободную общинную федерацию, а сплочение славянской реакции вокруг Петербурга. Отсюда ненависть Маркса ко всем разновидностям

панславизма, ненависть, которая временами ослепляла его<sup>8</sup> и позволяла ему верить нелепой клевете, будто Герцен и Бакунин на нужды панславистской агитации получают деньги от петербургского правительства.

Народничество, от Герцена ведущее свою родословную, не было отвращением от Запада. Наоборот: можно сказать, что народничество наше было не чем иным, как нетерпеливым западничеством. Страшил длинный путь от бескультурности и бедности нашей до тех целей, которые наметила мысль европейская. «Народу русскому, — так думал Герцен, — не нужно начинать снова этот тяжкий труд... Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы заплатились за нее виселицами, каторжной работою, ссылкой, разорением»... («Старый мир и Россия».) Увы! в то время как «мы» думали за народ, кто-то другой действовал за народ. Только народ, научившийся думать сам за себя, способен отучить других действовать за него. Мы теперь слишком хорошо знаем, что если вещь понята, то это еще не значит, что вещь сделана.

Герцен говорит, что недостаточно признать науку, надо воспитать себя «в науку». Сам Герцен был одним из вдохновеннейших наших воспитателей «в Европу». Его коллизии с Европой, его анафемы Европе были только порождением его благородной и нетерпеливой ревности к Европе. Некоторые не по разуму усердные зовут «назад — к Герцену!». Мы этого не повторим за ними. Вперед — от Герцена! А это значит: воспитание народа — «в Европу».

1912

